

Конец и вновь начало.

*Земную жизнь, пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу...
(Алигьери Данте)*

День рождение и приговор, вроде бы неожиданный, да он и был неожиданным, но не громом среди ясного неба, более, чем за полгода Нина жила с предчувствием близкой беды, от которой освободиться понимала не в её власти. Поэтому вынесенный вердикт врачом не удивил Нину, а лишь ставил точку в её жизненном пути.

– Доктор, прошу вас, скажите правду, сколько времени мне осталось? Я не боюсь, для меня пятьдесят прожитых лет уже немало. Прошу вас, не прячьтесь за врачебную этику, говорите всё как есть, мне необходимо знать, чтобы закончить свои земные дела.

Внимательно всматривалась в глаза Нины доктор Алина Витальевна, помолчав, ответила:

– Нет смысла от вас скрывать, потому что вам осталось жить две недели или чуть больше. В любом случае времени у вас мало. Ваша болезнь скоротечна и неизлечима.

До чего спокойна Нина, будто и не о ней речь. Да, её дорога заканчивается, оставляя ей отрезок земного пребывания, как говорится, с птичий носок. И выбора у неё совершенно нет. Палата, где она находилась последний месяц, будто летний луг среди серых стен, заставлена поздравительными букетами к дню её рождения, а она на них и не глядит, крутит в руках ожерелье из морского жемчуга – подарок от родных. Ожерелье нравится: «Какое красивое! Недавняя моя мечта», – и тут же недоумение: «К чему теперь бусы? Мне-то их точно не придётся носить. Странно как-то, поздравления и приговор одновременно, оттого ни радости, ни страха», – её тонкие пальцы перебирают жемчуг, будто чётки, без желания его примерить, по-женски покрасоваться перед зеркалом.

Вечер накануне дня перехода в онкологическую больницу. Нина, выждав, когда останется в одиночестве, подошла к семейной иконе Владимирской Божьей матери, сознавая, что ей больше идти некуда и не к кому. Не учили в детстве её ни в Бога верить, ни молиться Ему, ни иконам кланяться, оттого-то росла дерзкой и своевольной. Взрослая жизнь не разлилась медовой рекой, скорее наоборот, закрутила водоворотами на стремнине, из огня да в полымя, и заставила на крутых поворотах судьбы всему самой научиться. Выбор сделала душа от природы христианка, с тех пор Нина наивно кликушествует вопреки рассудку, вопреки науки злы. Тайно она поверяла свои мысли и дела Богородице, в ней находила утешение душевным мукам, перед ней каялась в грехах и любви, в ней видела знаки поддержки и помощи. Обескураженная известием о болезни Нина застыла перед образом всематеринской любви, которая единственная на свете безусловна – без суда и следствия. Застыла с горькой думой, обращаясь к Божьей матери без всякого предисловия:

– Вот и всё, Святая Мария. Для меня всё кончено. Завтра я иду в то место, откуда уже не вернусь, в наше время это больница для таких как я, серые стены, серые двери, а больных я видела на каталках белее простыней. Для вашего времени – место для прокажённых, одна и та же безысходность. Мать Божья, Господи, прошу – дайте мне мужества пройти эту дорогу до смертного порога и не отчаяться, дайте мне терпения и выдержки. По милосердию благословите меня! – склонила голову в поклоне, и так задержалась без слёз и жалоб.

Прошла ночь, а утром неожиданно для Нины муж Михаил, который ещё вечером предполагал отвезти её в онкологическую больницу, вдруг предложил:

– Нина, а хочешь – поедem не в больницу, а на Куршскую косу в лес?

– На Косу? В лес? Конечно, хочу, хотя бы подышу напоследок... – заговорила, опустив глаза, – Миша, ты не горюй обо мне, ты ещё будешь счастливым. Столько вокруг молодых и красивых женщин, которые рады будут найти с тобой счастье! – а он ей в ответ:

– Я хочу жить с тобой и только с тобой, и слышать не могу твои речи о другой пусть самой красивой и умной женщине на свете! Если ты, Нина, умрёшь, я тоже жить не буду! – он попал ей прямо в сердце, напугав любящую жену, которая безоговорочно верила всем его словам и поступкам. Разве могла Нина позволить совершить ему прыжок в небытие из-за неё... из-за неё? Ему – мужчине, с невероятной силой жизни, бьющей через край, у которого должно быть будущее с ней или без неё, неважно, но он обязан быть счастливым, а не кидаться вслед за обречённой. Она и так подкосила его, согнула горбом плечи, не желая, принесла ему столько страданий.

Однако узнав, что не только подышать чистым воздухом приехали они на Косу, а ей необходимо будет остаться здесь со Знахарем, который пугал одним только внешним видом, такими, как он, с чёрными шальными глазами представляла она себе разбойников. Оттого Нина запротестовала, – ни за что! Михаил, сгустив мягкие, просящие ноты в голосе, сказал:

– У меня нет кроме этого человека никакой надежды. Он один обещал мне спасти тебя, мне мою жену.

– Мишенька, я ему не верю! Он пугает меня. – Михаил не понял Нины, в нём жил иной страх, страшил не этот человек, а бесповоротная потеря жены. Одна эта мысль приближала чёрное горе, сердечную боль, которая уже сейчас нестерпима, и дальше нарастала с каждым часом. Стоя на пригорке у осин, он настойчиво убеждал жену, что здесь у этого целителя есть малая, но всё-таки надежда, ведь их привела сюда судьба, не дав другого выхода.

А Нина, разглядывая синеву чистого неба, произнесла:

– Это всего лишь лазейка, Миша.

– Милая, дорогая моя, пусть будет по-твоему, пусть лазейка! Где я только не был, даже до Питерских врачей добрался, а вывод один – смиритесь! Я не задаюсь вопросами: кто он этот человек и какой он? Лишь бы помог. Не он страшен, а страшно мне тебя потерять. Я прошу тебя остаться, прошу... хочешь, встану сейчас на колени!

– Нет, что ты! – Нина не могла ему позволить перед ней и на колени – этого ещё не хватало! Зато услышала его скорбь и отчаяние, подчиняясь охватившей сердце жалости и нежности, дала слово постараться выжить, только бы не видеть – как страдает и горюет её большой и дорогой человек. Она согласилась здесь «лечиться» – на самом деле долго, долго голодать, целый месяц, целых тридцать дней. А впрочем, тайно мыслила – умереть лучше от голода среди лета Господня с душистыми травами и голосистыми птицами, чем от традиционного облучения и химии в серой палате больницы. После цивилизационного лечения к тому же без гарантии, останется от неё, если останется, одна никому ненужная тень, которая будет бродить по комнатам туда-сюда, подвывая наподобие ободранной бродячей собаки.

xxxxx

Здесь в берёзовой роще, любуясь мотыльками в солнечных лучах, она пошла навстречу своей смерти, с одной мыслью – только бы суметь преодолеть последние роковые дни без страха и упрёка миру. Только бы сохранить отцовскую улыбку на лице и мамину в сердце тишину. Смиренно и кротко, кротко и смиренно хотела она пройти последнюю дорогу к вечности.

Странно было то, что она эта дорога не заканчивалась в окружении родных болью в домашней постели или в крайнем случае в больнице, а объявилась и случилась лесною тропой, не загадкой на картине Васнецова, а наяву – реальнее не придумаешь. Тропа – не дорога, отрезок – не путь. Рассудила Нина и то, что иного направления кроме как к последнему вздоху просто не существует в природе. Казалось, так умно рассудила, вроде открытие сделала, так чего же роптать или изнывать попусту? Ей не думалось об исходе, воображение не рисовало для неё мрачных картин в траурных одеждах, не слышалось ни звона кадил, ни ангельского пения, её не обступали и страшилки подземного мира. Все фантазии потом после последнего «Прости!», а пока в эти дни её земного лета печатью звёзды над головой! Бабочки и солнечные зайчики в листве берёз, в порах кожи запах трав и дух грибниц. Беспечная, она всегда считала, что жизнь – как подарок на земле дана, однако в этом подарке нашлось двойное дно. Плохо не его парадоксальное наличие, а то, что оно, проявившись, не отпускает.

С незапамятных времён открыт ящик Пандоры, но, к сожалению, для Нины там – на дне не осталось и крохотной надежды, да и не тешила она себя ненужными надеждами, диагноз не позволял. Спокойствие, выдержка и мужество – всё, что она попросила у Бога, вот только мужу слово дала, мол, постарается выжить. Обещание косвенно меняло понятное направление или ничего не значило? – «Конечно, я постараюсь, конечно, сделаю всё то, что от меня зависит, если зависит. Давно вижу, слышу, знаю – кокон леплю и закручиваю не я для себя, а правит этот последний праздник высшая воля, значит, стало быть так нужно, так мне на роду написано»... – вспомнила нужные слова бессмертного Иисуса: «И ни одна из птиц не упадёт на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц». – «Хотелось бы мне верить, что я лучше упавшей птицы для Него, и здесь кроется самая моя крепкая надежда – в Его знании для чего моя дорога здесь в берёзовом лесу с человеком с противоположной формой существования». – Она не переставала удивляться той лёгкости с какой люди приходят к вере, повесят крест, перекрестят лоб и для них всё просто и ясно, уже стоят у чаши за причастием. Ей же вера давалась трудно, как нехоженный подъём в гору по выступам вместо ступеней то ли из-за целой эпохи безбожия и глубокого невежества, а может от совершенных грехов, в которых шла жизнь, но не отступала. Да, обрета, не отступала от Бога, без которого время стало представляться пугающе-ничтожным, и лишь благодаря Его сущности значимым, практически высшим пилотажем. – «Страшно подумать – здесь перед лицом смерти моя вера, которую сама без учителя по книгам нашла и приняла, как свет, как пламенные искры, как благо, здесь на границе небытия по малодушию вдруг подвергнется сомнению? Или отрекусь подобно Петру, или ближе станет неверчивость Фомы?.. – «А мы в борении покуда – Пётр отрекается и предаёт Иуда», – Гумилёв сказал точно. В борении покуда, и я тоже в борении. Мужество и твёрдость – вот что мне нужно! Иначе не дойду, не потеряв лица».

Не искала она ничего иного в помощь на своём безысходном пути, кроме избранной веры, та, правду сказать, единственная умалила её ужасающее недоверие к жизни с затаявшейся беспощадностью и трагизмом. С тягой к разрушению. Именно здесь в последние

отпущенные ей две недели, хотела она осмыслить что-то неясное, неуловимое, зацепившее её судьбу, прежде чем жизнь поставит жирную точку.

xxxxx

За спиной в огне сгорали крылья, и если бы не природа, по которой у Нины истомилась душа на больничной койке, позволившая пренебречь навалившейся невзгодой, ублажила очарованием и умиротворением. Давая понять: «Ничего страшного не случилось, удивляйся здесь! Там, куда ты спешишь, ничего нет подобного. Земля тебя приглашает! Всё для тебя!» Берёзы с шёпотом предосенних листьев, ветерок ласкающий крылья бабочек, дурман от запаха желторотых лисичек, которые сбившись стайками, дразня, заводили вглубь по тропам леса, а ещё ночное небо. Августовское, яркое, от столпотворения звёзд, казалось, оно ухает вниз под золотоносной тяжестью, становясь ближе, чем трава под ногами. Кроме блеска и мощи, ощутила Нина, только протяни руки к Млечному пути, там и окажешься, закрутит, завертит и унесёт за тридевять солнц, спасая от горечи ада, в котором бьётся, как в ловушке. И оглянувшись, чтоб её никто не видел, Нина вытягивала вверх руки, напрягаясь натянутой стрелой к блистательным мирам. Не хватало только толчка, чтобы с головой окунуться в звёздный водопад Млечного пути.

Лес на Косе её не держал, он, робея, окружил, раскрываясь перед Ниной во всей прелести земной благодати, и ничего не оставалось делать кроме как наслаждаться его красотой, чувствуя пульсацию зелёного сока лесной жизни совместно со своей красной кровью. Лист подорожника вдоль троп напоминал детство, черника, костяника дразнили ягодами, которые пробовать ей нельзя, но помнить вкус не запрещается, голубые анютины глазки облепили пригорок, задерживая её восхищённый взор. Даже асфальтового цвета гадюка подставив свитые кольца на бугорке у берёзы не страшила больше, и Нина долго смотрела как та, будто почуя что-то, закрылась травой и поползла прочь, чернея, среди травяного просвета. С радостью берёзовая роща кружила её в своём хороводе от грибочка до грибочка, и деревья помогали подняться, подставляя для объятия свой шелковистый ствол. Голод и болезнь делали своё дело, забирали силы, зато лес Куршской косы насыщал больные лёгкие сладким воздухом и поил вдоволь колодезной водой, более чистой, чем слеза.

С каждым днём от голода Нина все острее чувствовала слабость тела, ног и рук, но не сокрушалась, в ней нарастало чувство вины, вины перед зелёным миром: травами, кустами, деревьями, бабочками и даже перед козявочкой с прозрачными крылышками, перед долговязой сосной, к которой она ежедневно приходила и подолгу сидела у корней, спиной подпирая ствол. А на вершине облюбовал себе место сокол, каждый раз прилетая, когда Нина усаживалась у подножия корабельного дерева. – «Что ты, сокол, соколик, хочешь мне сказать, показать? Одиночество без сожаления?» – «Заметь меня! Я – единица, независимая ни от кого, ни от чего. Мне некому мешать улавливать первозданную тишину. А в ней тонюсенький голос пеночки и бледную дрожь осинового листа. Здесь моё заповедное место, а вершина старт для личной и полной свободы! Без любви, привязанностей, а значит без ваших страданий». – «Наверное, я правильно его понял, а хотелось думать, будто он меня оберегает, как своего пусть не друга, напарника, оберегает на правах сильного и крылатого?» – Долгий её взгляд снизу на неподвижный силуэт птицы слившийся с небесной синевой уносил от грозной болезни на парусах вечнозелёной сосны в необъятное и бесконечное пространство. И душа Нины жаждала этого пространства.

Нечаянно, нагадано уже на обратном пути возникло и разрослось чувство вины до сердечной жалости к лесному царству, в каждой былинке которого читалась скоротечность времени, будто не она, Нина, а они должны погибнуть, исчезнуть! В уютных мхах утопали сосны, в берёзках, задетых концом лета, пробивалась осенняя золотистость, там порхали бабочки, и всё же Нина ощущала беспомощность, беззащитность и уязвимость их бытия, вот они коренные дети земли, щедрые и невесомые, как и она в настоящем. Вина, как судья, угнетала до безысходности, хуже голода, отчего Нина, не выбирая места, а так сразу в порыве упала на колени на колкую землю. Мелкие камешки больно впились в кожу, она склонённая к вздыбленному холму, губами ощутила песчаные крошки, травинки и тихо заговорила:

– Прости меня, матушка Земля, я виноватая, окаянная, скрытная, будто зажата в створках раковины, всё в себе и в себе, сама с собой и сама по себе. С людьми живу, но прибиться ни в чью стаю не могу. Мне бы к птицам, к журавлям в поднебесье, но сгорают в огне мои крылья, а ноги еле держат. Очень хотелось быть правильной, чтобы путь ровный без рытвин и ухабов, и без бездны. Не вышло. Прости меня, если можно простить. Как давно я не ступала босая по твоим травам, по твоим камням, пескам и тропам! В твоих росах утопаю, наслаждаюсь воздухом и звёздами под занавес жизни. Спасибо за то, что ты есть. Оставайся из века в век с закатами и восходами, с лунным и звёздным сиянием, с морями и лесами. Всё-то твоё вокруг божье! А я что-то не уберегла или чем-то пренебрегла, знаю и помню – когда-то твоим ржаным хлебом. Прости меня, за всё совсем, совсем прости! Не отвергай. Я земная женщина целую, целую тебя, слышу – родная земля хрустит на зубах... в этой жизни, лишь в этой жизни.

Будто при рождении, когда заполняются воздухом лёгкие, Нина услышала хлопок и свой вздох полной грудью, а с ним запах хвои вечнозелёных деревьев до головокруженья, до сильного сердцебиения, до сладостного привкуса во рту от клевера, от мать и мачехи, от лебеды, застрявших на зубах. И открылся слух – издалека донёсся гул взволнованного моря.

xxxxx

Эскулап, просил всех звать его по-свойски Саша. Имя совершенно не вязалось с его возрастом и обликом. Мужик за пятьдесят лет, а то и больше, босой с порепанными пятками, в застиранной майке и в бесцветных шортах, сам смуглый от солнца, на закопчённом лице глубокие складки, полубритость тёмной бороды и дерзкие цыганские глаза. Голос громкий, самоуверенный, будто в каждой фразе звучало: «Слушайте меня все! Слушайте только меня!»

По выходным, отправляя больных по домам, резал баранов, принося их в жертву невесть какому богу, обильно заливая жирную трапезу семидесятиградусным самогоном. К нему в эти дни приезжали из города люди первой величины из мэрии, бизнесмены конца девяностых годов, их жёны, чтобы почистить печень, попариться в бане, погадать на рунах, отведать барана и самогонки, слушая и принимая в нём того же Григория Распутина, обладателя сверх избыточной энергией. У Саши ни в чём не было меры. С вызовом для эпатажа он бравировал грубой бранью, и его брань лилась грязным потоком, однако посетителей это несколько не смущало, сами горазды выражаться непечатно. Смотрели гости на Сашу как на хорошего банщика, ну, а если наколдует удержаться во власти, то цены ему нет.

Нина подозревала, что матерясь, Саша выражал презрение к своему высокому окружению, демонстрируя: «Я вот такой! Безбожник и матершинник! Вы ко мне пришли – принимайте и любите Сашу со всеми выходками и прибабасами знахаря и чародея!» – особенно нравилось слыть «чародеем», лучшая реклама для любопытных и суеверных людей, а значит и для своего заработка. Именно такой славы он желал, которая подстёгивала его непомерное тщеславие.

Одна Нина воспротивилась грубости, бьющая как из пулемёта во все стороны и на неё тоже. Выросшая в благородной семье, она не выносила сквернословия, оно коробило её слух, но теперь она испытала к словам низкого пошиба враждебность и на всю жизнь в виде прививки, усилилось к ним отвращение, возможно, в противовес всё сильнее росла тяга к изысканной и вразумительной речи. Между Лекарем и больной нарастало противостояние, не открыто, но всё же для обоих заметное. Нина не высказывала даже малое неудовольствие, в чужой монастырь со своим уставом не лезут, молчала, как пленник на допросе, а когда ей становилось невыносимо от грозного бранного напора, отступала в лес, в царство родных детей земли. Курс лечения голодом дополняла парная баня, где голый Саша парил недельных посетителей, любителей почистить организм от паразитов, и её онкобольную тоже. Напарив, наподдав берёзы, обливал Нину ледяной водой, а его помощники мазали ее тело оливковым маслом и уриной, таким способом подпитывая голодающий организм.

Нина бесила Сашу маленькой спрятанной от посторонних иконкой, перед которой, в тайне молилась. С ней она делилась сокровенными мыслями, от неё, облучаясь иными лучами, питывалась светозарностью и духовной крепостью. Бесила, потому что не растворялась в созданном Сашей диком энергетическом поле, а творила своё не совместное с ним пространство, при этом не нарушала принципы и уставы, выполняла безропотно назначения, но без покорности. Без признания и обожания.

Бесила и оловянным крестиком, который высвечивался на шее в парной бане. – «Сними крест!» – орал он. – «Нет». – «Христиане все рвутся умереть, им смерть дороже жизни! Я не вылечу, если ты сама жить не хочешь!» – «Неправда. Христиане просто её не боятся. Крест не сниму, нет, нет и нет», – твердила на окрики снять крестик – слепок божьего страдания и её сострадания. До желваков сцепив зубы, молчала, когда он медленно лил, начиная с головы, ледяную колодезную воду, – «Кричи! Кричи! Кричи!» – требовал он, а она не выдавив ни звука, уходила после экзекуции по заветной тропе в берёзовую рощу, мокрая с головы до пят и всё та же своевольная. Босыми ногами по траве, по росе, между белыми стволами стройных берёз осызала она земную стезю, холодок от влаги, шелковистую ласку от травы и сквозь ветви голубую первую звезду, взошедшую вместе с тонким месяцем на темнеющее небо. И жалобно запела:

Ноченька мисячна, зоренька ясная!
Видно хоть голки собирай.
Выйди, коханая, працею взморена,
Хоч на хвылыночку в гай!
Ты не лякайся, что ноженьки босые,
Вмочишь в холодну росу:
Я ж тобі, милая, аж до хатыночки
Сам на руках отнесу...

Она пела тихо, еле-еле слышно деревьям, нисколько не дивясь вырвавшейся украинской песни здесь на исходе её существования, детство прошло с бабушкой украинкой, да и просто другой песни лучше на этот случай не нашлось. Она ходила и пела, задевая по очереди руками белые стволы, затем прижалась к «V» образным длинноногим близнецам со словами нежности: «Сестрички, вы мои родные».

И всё же нашла Нина оправдание и для лесного целителя. Бабочка-эфемера ночная, серенькая, невзрачная билась в окно, а он, стоя у окна, гневаясь, всё ругал, и ругал Нину, чтоб прекратила играть в молчанку, а послала его куда подальше, и вдруг заметив бабочку, машинально поймал её за крылышко и выбросил за окно. Спас бабочку! Нина увидела, и её отпустило напряжение, по-иному она взглянула на страшного для неё человека, на разбойника, который обижает её и сам обижается, может быть есть за что – раз он так сердится.

– Уходи отсюда! – резко произнёс он, – ты брезгуешь всем здесь и мной. Уходи! Не буду я больше с тобой возиться. Бесполезно.

– Нет, не уйду, теперь не уйду. Мужу дала слово, а я слово держу. А вы коли взялись – так доводите дело до конца! Я с полпути, хоть убейте, не сойду. Поймите меня и вы – я без претензий к вашему богу, я его не знаю. И вы не трогайте то, что для меня истина и свет от умопомрачения. Это мой выбор, да мой Бог унижен, оклеветан, не губит, не защищает, распят ни за что, за Слово, за надежду. Тем хуже для нас, тем страшней выглядим мы, люди, умные обитатели земли. Я тоже, как все, страшная, а я не хочу. Ведь мы его дети, чада. Крест не сниму, а в остальном ваша воля, сколько надо, столько буду голодать. И не ругайтесь, я вас умоляю... разве здесь, – и палец в точку между бровей, – на лбу написано, что меня нужно поганить?

– Нужно. А иначе ты овца такая-то, уйдёшь к праотцам, этот хлыст тебе нужен, чтоб встряхнуть! Чтоб не заносилась, чтоб не к облакам, а к земле себя преклонила...

– Бросьте вы! Мне как раз ваша ругань не нужна, она меня убивает. Я из-за вас скорее умру. Так и знайте, из-за вас, из-за ваших грязных слов, убийственных слов, без ножа режете!

– Ладно, не буду больше, ну, что ты за цаца такая навязалась на мою голову. Пожалел тебя, не захотел, чтобы красивая женщина умерла, а ты меня достаёшь, всю мне картину портишь!

– Я вас такую малость прошу – не ругайтесь. Тогда-то всё будет хорошо.

– Как есть принцесса на горошине! Да мне тебе предложить нечего кроме топчана в бараке.

Удивительно, но этот человек, получив на двадцать первый день голодания листок с анализом крови Нины, где чёрному по белому записан результат её здоровья, носился между берёз по поляне, крича и размахивая бумажкой, скакал и прыгал от радости:

– Будет жить! Будет! Ура! Мы победили, – и, подхватив Нину, закружил её, – я ведь понимаю – каково тебе здесь. Понимаю. Не думай, я не совсем тупой чурбак.

– Спасибо, – произнесла Нина, а сил даже радоваться у неё уже не было. Да, выжила, но не ожила, а потому реагировала без эмоций на его буйное ребячество, на его сумасбродство. Выходит – не от какого человека отказываться нельзя.

Что же нашлось в нём, чего не оказалось у других, у тех же врачей? Дерзновенность! Забытое качество. Он дерзнул, когда все отступили, повёл жуткой дорогой без пищи, только вода и воздух, без поблажек нагнетая и усиливая абсурдность врачевания, при этом, в тайне смахивал слезу, когда обессиленная Нина бродила в роще среди деревьев,

подолгу не выпускал её из своего поля зрения. Восхищался, жалел, но не соглашался с безропотностью, считал плохим признаком, не жизнеспособным.

xxxx

Божья воля, сила природы, дикая дерзновенность лесного целителя вершили своё дело, но была ещё великая сила, без которой не свершилось бы невозможное. То сила живой и действенной любви Михаила, потайная до срока, не видная снаружи, без клятв и признаний, высвободилась и затопила собой обессиленную от болезни и голода Нину.

Это он, её муж, невероятной любовью в то страшное время тащил свою подругу из лап смерти, страшась алчной разлучницы, после работы торопился к жене в лес и являлся в любую погоду, чтобы влить свою силу жизни в тщедушную женщину, не желая отдать её потустороннему миру. Ощутил, как тонка завеса между тем и этим миром, как легко тот проникает и навсегда поглощает ещё здравствующих на земле людей, так бездна ждёт своего часа, так волк заедает беспечную лань. И он, не сдерживая горьких слёз, выдал потусторонней грани, уже сжимавшей его сердце болью: «Не отдам!»

За руку, как дитя, по тропкам и тропиночкам, по лесным дороженькам водил Михаил больную жёнку, дыша с ней хвойным воздухом, давал понять он всегда рядом был, есть и будет, не расставался с ней до темноты, пока солнце не закрывало за горизонтом свой огненный глаз. Он не говорил ей о любви, он просто неотступно держал жену на земле глазами, руками, всем жаждущим её жизни сердцем, рассказывал о детях, о своих делах и боялся, страшно боялся уйти и оставить её на эту и другую ночь. Лишь затемно отправлялся в город домой с пакетиком золотистых лисичек, которые за день насобираала для него Нина, бия с трудом поклоны до земли каждому грибочку.

В прошествии трёх недель Нину на воскресные дни отпустили домой, и Михаилу радостно – предсказание врачей не сбылось, рентген подтвердил – лёгкие чистые, кровь в абсолютной норме, но срок голодания не завершён, придётся Нине ещё потерпеть. Жалко ли было её Михаилу? Не тот он человек, поддающийся жалости, ему важнее завершить процесс, вернуть здоровье жены для дальнейшей жизни, поэтому и мысли покормить подругу у него не возникало, к тому же он гарантировал Саше соблюсти все условия и в понедельник привезти Нину в лес.

А дома, как говорится, и стены помогают. Там, в лесу мытьё в бане и вся гигиена и то лишь хозяйственным мылом, все ароматические гели и шампуни исключались из-за несовместимости с природой, из-за химических примесей и ароматов, дурно влияющих на здоровое естество. Но разве кудри Нины можно промыть мылом? Для этого вот на полочке её любимые шампуни, гели, баночки, скляночки, щёточки, мочалочки, голубые, зелёные с блеском и без, со знакомыми брендами и названиями. Она послушается своего эскулапа и обойдётся без еды, лишь ванну разрешите! Ну, а если нет, то простите, она всё одно примет её и поблаженствует напоследок. Маленькая, а всё же радость.

– Голубушка, ты сама в ванну забраться не сможешь, давай я выкупаю тебя, – обнял Нину Михаил.

Он приготовил ванну, потрогал локтем воду, будто для ребёнка, затем бережно опустил легковесную жену в воду, намыливая её гелем с ароматом лаванды, перебирал пальчики на ногах, поражаясь их маленькому размеру, утончённым от худобы. Нина разомле-ла, растворилась в нежной ласке мужа, в радости видеть родное склонённое к ней лицо, и улыбка на лице выдавала тихое блаженство, в котором она пребывала. Закурчавившиеся в лесу волосы они промывали вместе, одному Михаилу с ними просто не справиться, она

выбрала японский шампунь с растительными маслами, сама замотала кудри в мягкое полотенце, а всё остальное предоставила мужу. Комфорт, вроде заботливой няньки, снимал груз первобытного состояния, запахи пещерного неандертальца. Закутав мокрую Нину в махровую простынь, Михаил с легкостью понёс жену в спальню:

– Не сопротивляйся, моя голубушка, мне совсем не тяжело, мне даже очень приятно. Как давно я тебя на руках не носил, не мыл как маленькую, не укладывал. Уж и не припомню – когда такое было.

– Я тоже не припомню, – вот сейчас от твоего тепла растаяла и так останусь с тобой – не умру, что будешь делать?

– Мы будем жить долго, долго, долго, всегда вместе, без разлуки, – шептал ей Михаил.

Ночью он не разжимал объятий, словно боясь, что Нина действительно растает и затем испариться в воздухе, и вдруг утром её не найдёт. Она же, заснув крепким сном без сновидений и тревог, покоилась в его руках, до чего хорошо ей здесь и сейчас, что вечность может подождать... неважно, если Смерть победит, но над любовью ей не взыскать торжества.

Нина утром проснулась первой и замерла от невиданного доселе чуда. Обычная бабочка, в лесу подобных ей полно, сложив крылышки, будто парус, темнела на плече. Неужели, заметив открытые глаза женщины, бабочка открыла и распахнула свои алые крылья с синими зрачками по сторонам, затем, не взлетая, замахала ими, будто знакомке, радостно приветствуя.

– Здравствуй, краса! Ты пьёшь нектар с поцелуя моего мужчины. Или? Или даёшь понять – я уже не больна? Бабочка не муха, не стала бы красоваться на погибшем растении... Так или не так? – Бабочка, будто подтверждая её мысли, закрыла веера, став восклицательным знаком, и замерла на плече. А тут и Михаил пошевелился:

– Тише, Миша, тише! Посмотри – какая прелесть у меня на плече!

– Надо же! Бабочка! Что она тут делает?

– Нашла нектар, сладкий нектар нашей любви! Давай, Миша, мы её отпустим на свободу?

– Я сейчас, сейчас, сейчас! – Михаил, крадучись, обошёл кровать, подобрался незаметно и заключил бабочку в чашу ладоней, слышно, как она затренькала, забеспокоилась, но недолгим был её плен, потому что он широко открыл у форточки ладони и даже подтолкнул ими хрупкое создание, а бабочка? Нехотя уселась на краю рамы, мол, зачем вы меня гоните? Похваляясь своими шелками, чаровала, мигая подведёнными на крыльях глазками, жаждала восхищения и понимания. Она лететь не торопилась, и без внимания на дуновение рук мужчины, продолжала тренькать и задевать мысли: «Зачем вам завтра и вчера? Какое мгновение, трепет страха и любви! Не спешите, не спешите его покинуть. Хорошшо, разве нет? Нет? Нет?»

– Миша, оставь, не гони, она хочет побыть с нами, ей здесь хорошо. Слышишь, шелестит: «Хорошшо, шшшо, шшшо»...

Они молча лежали на спине, сцепив руки, в пролёте форточки шуршала бабочка, время шло, а для них оно перестало существовать, растворилось в этой комнате в лучах утренней зари. Они лежали, не решаясь нарушить тишину и единение, запретный покой пока Михаил не спросил:

– Нина, что с нами? Неужели, прожив почти тридцать лет, опять любовь? Сейчас любовь мне кажется мелким чувством, временным, непрочным. Между нами больше чем любовь, только названия не подберу.

– Милый ты мой! Представь себе – я решила, что твоя любовь прошла. Ты в последний год раздражался, гневался, всё-то мной был недоволен, я посчитала, что не нужна тебе. И вот я уйду, а ты не отпускаешь и говоришь о любви.

– Я много и трудно работал, ни о какой любви не думал. А сейчас я говорю тебе об очень сильной моей любви, о громадности, она не вмещается в обычные понятия, это нечто большее, жажда удержать тебя, не дать тебе исчезнуть навсегда. Я будто сдерживаю злой ураган и слышу его близкие порывы.

– Твоя любовь, как два бескрайних моря, вместить не может жизни берега. А больше любви, любимый мой, – её дитя, верность называется. Верность трудно даётся, зато прочнее скалы и долговечнее вечности.

– Как ты всё знаешь. Удивительно.

– Я поумнела за последнее время, слишком крутые пришлись на мою долю перемены. Для чего-то дан мне этот путь и его надо пройти, а тебе испытать. Ты прости меня, Миша, столько тебе со мной хлопот!

– Глупости говоришь. Какие это хлопоты, лишь бы ты выжила... Не оставляй меня, я без тебя жить не могу!..

xxxxx

И ещё дети, сын и дочь, печалью в глазах не отпускали её, ожидая чуда.

– «Взрослые дети, слава Богу, у каждого своя семья, с моим уходом они не останутся одни, жизнь у них пойдёт своим чередом. Правда, не стоят они крепко на ногах, благополучие в конце девяностых никому не обещано, но всему своё время, – утешала себя Нина. – Миша учит их работать, а, значит, дети не пропадут».

Она увидела здесь в анклавe леса сына Альку, уже не мальчика, а мужчину ещё очень молодого, хрупкой по-юношески стати, сгружающего с машины вместе с дородными грузчиками токарный станок, далеко не новый тяжёлый советского производства, который и четверым не поднять. Но сын вoвсю старался выполнить просьбу Лекаря, спасающего по словам отца его мать, и себя не жалел, упираясь тащил на склад неподъёмный груз. Зато жалела Нина, на глазах которой грузили станок, а узнав, что спину сын всё же сорвал, винила себя, что причинила любимому Альке боль и страдание. Боль детей – это её боль, сердечная, сокрушала во много крат сильнее собственной. Только что она могла сделать и чем помочь в теперешнем положении? Помнится, на его свадьбе, когда сын поднял невесту на руки, Нине всё время хотелось поддержать её, чтобы Альке было не так тяжело, но не стала никого смешить, а теперь и мысли нет помочь, до чего стала сама беспомощна. Неужели станок здесь кому-нибудь нужен? Странно однако видеть – хлопочет у станка знаток Саша, приговаривая: «Ой, спасибо, позарез был нужен станок, моё любимое дело – токарничать, настоящая работа и есть моё призвание».

А у Нины сердце кровью обливалось от сознания, что она, и только она невольно своим дорогим детям уже принесла море тревог и волнений, а что же станет потом, после, когда случится утрата? Горе войдёт в их дом, ранит им сердца. Из-за неё. Вот беда-то!

Она продолжала голодать без малейшего укора кому-либо, терпеливо переносила все невзгоды ещё по одной причине – она ждала дочь, которая проходила университетскую практику в Америке, ждала явно и подспудно, с уверенностью – должны же вызвать её для прощанья с матерью. Но дочь не ехала, а она без неё не умирала, ждала каждый день, каждый час, каждую минуту – хоть одним глазком взглянуть, в руки взять её тонкие пальчики, провести ладонью по волосам. Года нет – как Марусенька вышла замуж, значит,

не останется одна, сладят дети свою жизнь, можно не беспокоиться, но увидеться и попрощаться душа требует, чтоб по-божески. Нина испытала облегчение, когда дочь вернулась, приехала в лес. Что ж можно не бояться последующих событий, потому что мать видит её, целует, и насмотреться не может. Нина не говорила прощальных слов, зачем сеять отчаяние, итак в глазах и облике Маруси смотрела на неё глубинная печаль.

Дети в лес приезжали не часто, но когда они приезжали, она бродила с ними по полянкам и тропинкам, невзирая на изнуряющую усталость. Маленькая внучка Дашутка, первая нашла выход, увидев до чего тяжело даются Нине шаги с остановками у берёз и сосен, с передышками, со вздохами. Она отыскала в траве крепкую палку и, подавая бабушке, сказала:

– Бабуленька, возьми! Тебе будет удобнее и легче идти с палочкой.

– Милая моя девочка, как же я не догадалась? Конечно, удобнее. Мне стало намного легче шагать. Замечательная палочка-выручалочка, мне она нравится. Спасибо тебе.

– Пожалуйста! – развеселилась внучка, с прискоком понеслась по полянке, напевая ей одной известный мотив.

Глядя на своих детей больших и маленьких, Нина снова чувствовала – жизнь, как подарок на земле дана, бесценный подарок, её поросль тому подтверждение. Но мысль, что она, а никто другой разрушит самоотверженно созданный ею лад, вся предыдущая жизнь тому подтверждение, осиротит, покроем скорбью души детей, омрачала её бедное существование.

Материнство – ничего нет на земле более жертвенного, более стойкого и более радостного! О! Как оно направило легкомысленную и озорную девчонку на серьёзный и сложный путь, на преодоление невзгод, услужив терпением и уступчивостью, двинув глупую голову на поиск истины. Стержень не сломленного духа не в женщине, у которой зашкаливает самость, в какие бы она одежды не рядилась, ей не до своего ребёнка, тем более не до чужого, видимо только в материнстве, как весна расцветает любовь и надежда на прощение самой грешной и феерической женщины, такой соблазнительной для мужчин. В образе Богородицы поклоняется Нина материнству, там её душа нашла защиту своим детям, испеляя чувство опасности, которое в разрушительные годы конца двадцатого века у ней безмерно разрослось. Удручённая реальностью и скупаемая дурными предчувствиями, показалась Нине жизнь страшнее смерти. На сломе двух эпох наружу вылезли чудовищно низменные страсти, плохо видеть их в людях, а хуже всего в себе заметить, где свет там и тень. Чем выше солнце, тем длиннее тень, чем светлее и живее мысли, тем несноснее мракобесие, пугающее своим множеством и ничтожеством. Может быть поэтому, так уверенно топает она к последней черте, за которой, как за горизонтом, исчезнет худо сотворённое бытие. Вот только дети... Их горе вырвется на крик, на разрыв аорты? Так с ней уже было, при потере родителей, такую же боль невольно причинит детям и она.

Ради них на коленях в молитве перед маленькой иконой Иисуса Христа попросила у Бога для себя жизни, нерешительно попросила, без надежды, лишь веруя в Его провидение. И этой тихой просьбой она изменяла так умно избранному ею направлению, конечно:

– Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, я пью из данной мне чаши, готова испить её до дна, готова к дальнейшему искуплению. Но жалко мне моих детей! Так жалко их сердца, которые сокрушаются от беды, от тоски, умоются горячими слезами. Господи, можно ли меня простить? Совсем, совсем простить! Меня неправую, недостойную твоего Святого внимания, твоей любви, милосердия. Как Иов иду отверженной тропой,

кожа моя прилепилась к костям, гортань моя иссохла, смрад гнева и брани на мне, а душа страдает по мужу и детям. Я жила, была для них, переплетены наши судьбы и сердца, я же невольно рву родные связи, наношу им раны, боль, скорбь. Невыносимо даже думать об этом! Бог живых, если можно, ты поднимающий с одра людей, друзей и меня не оставь! Верни, как погибшую деву, как Лазаря, к жизни. А нет, то воля твоя! – без слёз, без надежды пошла по лесной тропе к заветной сосне, к птице соколу на её вершине, к феерическому закату, к мягкой траве-мураве. Не для прощания. Для общения, для союза, для сущности, для насыщения кровной памяти.

Невероятно, но видно Бог приклонил к ней своё ухо и ущедрил выздоровлением всем на удивление, а больше самой Нине, которая перестала ощущать дыхание и близость конца, невероятно было слышать в себе перемену цели от смерти зов к бессмертию. Она выжила после сорока дней голода, когда другие умирали. Чудо есть чудо, и чудо есть Бог шепнувший: «Мной обретается бессмертие»...

xxxxxx

И всё-таки голод есть голод, истощается не только организм, но меняется и личность, к сожалению, меняется не в лучшую сторону. Так железная выдержка Нины споткнулась не о суровую бытность, не о хилость житейских удобств и даже не об унижения, по её понятиям – унижающий сам себя унижает, поколебалась она от голода. Голод как провокатор оказался успешен.

На тридцать третий день ей пообещали стакан соку из свежавыжатых яблок. Нина до этого, длительное время кроме воды видевшая еду только в снах, да и в тех раз от разу постепенно снижались её потребности. Так первый сон показал ей бутерброд с розовым кусочком лосося, голод ещё всю барствовал. Второй сон – чёрный хлеб с хорошим сыром – и Лекарь ей сказал, – голод желал привычной еды без скромности, ещё ты, милочка, не знаешь настоящего голода. Третий сон на третьей неделе – чёрный сухарь плавал во сне, как воздушный кораблик, но руке протянутой и просящей почему-то был не достижим. – «Теперь ты только становишься истинно голодной, и работа над болезнью продолжается», – так заключил наблюдавший за ней и за её снами Лекарь. И только в четвёртом сне она увидела целую картину, завершающую её подвиг.

Видит во сне Нина себя истощавшей и бредущей по дороге, а на пути чёрный, чёрный вход в подземелье, вокруг голые скалы и дальше идти просто некуда, Постояля, подумала и не сразу, но вошла в темноту, в которой будто слепая, падая и вставая, всё искала и искала выход. Наконец, после блужданий появился где-то вдаль просвет, на него и двинулась Нина. Поняла, что выход всегда важнее входа и не каждую дверь стоит безоглядно открывать, пошла на брезжащий просвет и обнаружила желанный выход, такой же округлый как вход, потом вышла в солнечный день, словно на окраину деревеньки. И тропка тут же нашлась. Дошла она до забора из штакетника и опустилась около в изнеможении, без всяких сил. Тут к ней женщина выходит и заводит в дом, а там за столом сидит большой белобородый старик, перед стариком краюха хлеба и банка с мёдом. Отрезал старик хлеб, смачно так отрезал не жалеючи, затем медленно ложкой налил на него мёда и протянул Нине: «Ешь». – «Нет, – покачала она головой, – спасибо, нет, мне нельзя. Если не трудно, то дайте мне водички попить. А еды мне совсем нельзя». Женщина подала ей черпак с водой: «Пей водичку, колодезная, полезная, чистая, пречистая на здоровье!» – Пьёт Нина, пьёт, и дальше пьёт и потом пьёт... вода не кончается, льётся на подбородок, шею, руки... – на том сон и кончился.

Послушал Лекарь сон и принял решение, назавтра дать Нине яблочного сока. Твёрдо пообещал – мол, пришла пора выходить из голода – сон, дескать, в руку. И добавил: «До сих пор жива, значит, уже не умрёшь. А старик твой хорош, очень даже хорош. Щедрый!» Наконец ей принесли и поставили на тумбочку стакан свежесжатого яблочного сока. Голодное вождление рисовало ей картину блаженства от сока с запахом антоновки, предвкушение кружило голову, вот сейчас язык, небо, вся гортань насладятся яблочками, теми домашними, орловскими, антоновскими. Глотнула Нина от жадности большими глотками раз, другой и обожгла себе рот кислотой, – «Уксус», – пронеслось в голове, – «мне дали уксус?» Она ещё не верила, что так может быть и отпила ещё чуть-чуть, и ядовитая кислота окончательно отрезвила её. – «Это не то, всё не то!» – Разочарование, огорчение, ещё не довели чувства до возмущения, когда она отправилась в соседнюю комнату к девушке, которой лечили псориаз и тоже голодом, чтобы спросить такой ли точно кислый сок дали ей? Лиля ответила: «У меня нормальный, вкусный сок из «белого налива». Я его уже почти допила».

Вот тут-то Нина изменила себе, или голод толкнул её действовать вопреки рассудку, и она, откуда что взялось, решительно пошла на кухню со стаканом своего кислого сока, чтобы спросить – зачем и почему подменили сок на уксус? Пока ещё без гнева, но уже с упрёками поставила она стакан и выговорила служащим знахаря, которые в её нелёгком испытании были с ней добры и обычно помогали, чем могли. Нина с обидой: «Какой сок вы мне дали? Это уксус, а не сок. Вы попробуйте его. Пробовали? Нет? Так глотните! Я не смогла». – «Это сок, мы сами его отжимали из яблок, купили в деревне антоновку, как ты заказала». – «Антоновка? Но ведь этот напиток в рот не взять, и запаха антоновки я не слышу». – «Мы не виноваты, что антоновка в августе незрелая и жутко кислая». – «А заменить на сок из других яблок разве нельзя?» – «Нет нельзя. Яблоко больше нет, да и Лекарь менять не велел. Либо – либо». – «Ясно. Мне всё ясно! Я отказываюсь пить этот сок, я обходилась и сегодня без него обойдусь!» – и впервые запротестовавшая Нина ушла, бессовестно возмущаясь, к себе на топчан. Эскулапу доложили, и он вынес вердикт: «Значит, овца взалкала и заговорила по-людски, наконец! Голод сделал своё дело, подмял её надуманное смирение? Сегодня же и домой! Теперь она себя в обиду никому не даст ни людям, ни болезни. Должна жить, все предпосылки к тому».

xxxx

Нина ещё неделю прожила дома без пищи, потому что теперь бунтовала уже плоть. Организм изрыгал из себя приготовленные свежесжатые соки, любую малость – вон! А лесной целитель её делами больше не интересовался, будто и не его забота – что будет с ней дальше, выживет, так выживет, а нет, так всё случится дома, а он руки умывает. Дал на тетрадном листе распорядок питания и список, что можно – что нельзя, с тем и отправил.

Она, сама, как больная собака, ищущая целебную траву, неожиданно нашла выход из затянувшегося голода. Привиделись ей бабушкины руки с тонкой кожицей в синих вспухших прожилках и в них угощение, как в детстве – чёрная горбушка натёртая солью и чесноком. Будто наважденье, с такой силой захотелось Нине этого куска, напоследок перед смертью, которая хоть и стояла близко, но не львом хватала предназначенную ей добычу, вроде как выжидала чего-то. На её просьбу Михаил ответил: «Что ты Нина, тебе нельзя, ты же умрёшь». – «Милый, а ты не видишь, что я итак умираю? Сделай, как я прошу!» – Тщательно пережёвывая небольшую корочку хлеба с чесноком, она проглатыва-

вала только хлебный сок, и к собственному удивлению через час попросила сок, выпив всего пятьдесят грамм поняла, что сок усвоился. Всего пятьдесят грамм хватило, чтобы добыть надежду со дна ящика Пандоры.

И после голод дважды показал свою власть. Нину всё ещё пользовали соками, а хлеб, обычный хлеб был для неё недостижим. Ожидая Михаила в машине, который выскочил в магазин за хлебом, Нина вдруг услышала в машине рык, яростный горловой, который её удивил, кроме неё здесь никого, она даже оглянулась, оглядела задние сиденья – никого! Тогда кто же так страшно прорычал? Нина чуть не поверила, что этот рык издала она, голодный рык зверя, – «И это я? Я?» – Но нет, она не произносила ни звука, – так кто ж там за её спиной дико завопил, кто сотряс своим отчаянием машину? – «Это вырвался наружу мой голод, волчий аппетит, равняя меня со всем звериным царством, подтверждая – я с ними одной крови» ... – Когда Михаил принёс горячую буханку и дал Нине в руки, предупредив: «Только не ешь! Тебе нельзя!» – С каким наслаждением она вдыхала хлебный дух, обоняя высшее блаженство ржаного свежеспечённого запаха, оторваться было невозможно... Но не откусила, даже не лизнула – устояла. Соки, соки, ежедневные соки перестали удовлетворять алчущий твёрдой пищи живот.

Порядок питания Нина выдерживала строго, но однажды... Она кормила домашнюю кошку свежей скумбрией, а та ела, только хруст стоял, и наслаждалась, от удовольствия громко урчала. Нина, глядя на неё, возжелала именно эту, сырую с тарелки кошки скумбрию, не отводила от рыбы взгляд, а в ушах довольное кошачье урчание. Хоть к кошке в миску за кусочком и с руками! Ну, нет! Всё неспешно, открыла холодильник, достала из с полки вторую половину и впилась в сырую скумбрию зубами, а разжать их не вышло. Зубы сами отгрызли кусок и сжевали его, потом ещё и ещё, до последнего огрызка, до хвоста. И не было больше её воли, кричи не кричи: «Умрешь!» Довольная она легла на кровать, ожидая последствий. И последствия не заставили себя ждать. Нина ощутила прилив сил, желание двигаться, что-то делать, неважно что, лишь бы не валяться в постели.

Весёлыми глазами смотрел на Нину Михаил, когда она шустрила по дому – гремела кастрюльками, расставляла по вазам цветы, по утрам обливалась холодной водой и босая бегала по земле, а ночью целовала своего синеглазого и нацеловаться не могла. Они снова вместе и рождалось у них время для будущего!

xxxxx

После леса Нина все сомнения относительно мужа отбросила, нет у неё соперниц и быть не может, и у Михаила соперников больше нет, даже виртуальных, даже воображаемых, даже книжных, от которых сходила с ума. Муж в эти сорок её голодных дней выдал на гора силу чувств большую чем любовь, к которой слов не подобрать, которая во сне не приснится и о которой Нина не читала у великих и знаменитых. Он не дал ей умереть, всего себя ей отдал, оттого она и выжила для него, чтобы Михаил от горя не ослаб. Потому и старается себя не жалеть для него, для детей, а больше для него...

Ну, что ему стоит похвалить её, порадовался уюту, красоте созданной ею вокруг, заметить её испорченные руки. Но что-то не выходит, и не его вина, он живой, а вот она – Нина «остолбенелая». Бог не велел оглядываться жене Лотта, чтоб ужас увиденного не передала потомству, он её в соляной столб навеки вечные. А Нину, стоящую на гибельном краю, заглянувшую, но так и не шагнувшую за черту, вернул к жизни, совершив чудо, иначе врачи и не называли её выздоровление. Чудо – есть чудо, и чудо – есть Бог, для Ни-

ны эта фраза стала аксиомой. И Бог есть, и чудо есть, и жизнь с ними есть. У каждого свой опыт, у неё свой, неповторимый с бедой и печалью пополам.

Через год, расстелив льняную скатерть и перебирая на ней засохшие розы, Нина складывала их со значением известным ей одной, тёмные рядом с солнечно-жёлтыми, а над ними легла белою порошею прозрачность кукушкиных слёзок, тут же возвышалась лапою ветка пальмы, а дальше по наитию, чтобы глаз радовался нежному колеру роз. И ромашки – память о любимой полянке за домом, сами сеются и сами цветут, а она их собирает и украшает комнаты, как и своими доморощенными розами. Они тоже тут. Её нелёгкий труд. Перебирает цветы Нина руками, испорченными землёй и её старанием, во что бы то ни стало устроить лад в новом доме и, конечно, в саду. Хорошей бабе это может на один зуб, а для Нины – сверх меры, силой не вышла, а после леса, когда огонь чуть совсем не погас, лишь искрой божьей держится. До глубины души осталась понятной лишь грусть, а радость всё больше ожидаемой. Думалось – теперь-то Михаил будет только на руках носить, за его любовью пошла, жилы вывернув, и снова вместо звёзд и обожания кастрюли, полы и навоз. Никакая она не баба, теперь уж и не поймёшь кто, от лёгкой женщины мало что осталось. Молится, трудится и рисует, да мужу угождает, и ведь есть за что! За него в огонь и в воду...

– «Куда же пристроить ромашки?» – Дарёные к праздничным событиям – розы, а ромашки по душевному порыву Михаил для неё с полянки принёс. От большого букета одна ветка осталась, которая когда-то пышно цветущая дорогого стоила, а теперь скромняга стала ещё скромнее на вид, кажется, совсем не подходит к высокомерным розам, но....

Аромат – сладко-нежный дух после увядания у веточки стал ещё острее. Нина не ручной работы цветок, лесной да полевой, самоцвет двинула на передний план. Собрав букет, поставила его в напольную керамическую, облитую синей глазурью вазу, пусть возвышается и отовсюду бросается в глаза, на зиму украшение не раз напомнит о лете, о минувших днях счастливой жизни.

На льняной скатерти остался поблекший мусор сухостоя, и его оказалось предостаточно. Вытряхнуть и выбросить – вон, вот и все дела.

Гусева-Рыбникова Е.А. 19.11.2018г.